

Часть первая

СМУТНОЕ ВРЕМЯ

В беде преданный друг — сильная защита.
Преданный друг — лекарство жизни.

Апокриф

Страшная тьма опустилась на нас, но мы не должны ей сдаваться. Мы поднимем светильники мужества и найдем путь к свету.

*Неизвестный деятель
французского Сопротивления, 1943*

ГЛАВА 1

7 ноября — 2 декабря

1

Лагуна-Бич, Калифорния

Доминик Корвейсис уснул под легким шерстяным одеялом на накрахмаленной белой простыне, раскинувшись в одиночестве на своей постели, проснулся же в другом месте — в темноте, в гардеробной, в большом шкафу с куртками и пальто. Он лежал, свернувшись в позе эмбриона. Руки сжались в плотные кулаки. Мышцы рук и шеи ныли от напряжения после дурного сна, впрочем сам сон Доминик уже позабыл.

Он не помнил, как покинул ночью свое удобное лежбище, но не удивился, обнаружив, что проделал немалый путь в темноте. Такое уже случалось с ним пару раз, и совсем недавно.

Сомнамбулизм — обычно его называют лунатизмом — потенциально опасен, и во все времена он завораживал и притягивал людей. Доминик тоже был заворожен им — сразу же после того, как стал его жертвой. Он нашел упоминания о лунатизме в старинных рукописях, датированных 1000 годом до

нашей эры. Древние персы верили, что блуждающее тело сомнамбулы ищет свою душу, которая отделилась от него и витает где-то в ночи. Европейцы мрачного Средневековья предпочитали объяснять сомнамбулизм одержимостью дьяволом или ликантропией — способностью превращаться в волка.

Доминика Корвейсиса лунатизм не очень-то беспокоил — разве что слегка расстраивал и смущал. Доминик был писателем, и его занимали эти ночные странствия, потому что любой новый опыт он рассматривал как источник творчества.

Имея возможность с выгодой использовать сомнамбулизм для своего писательства, он все же понимал, что это болезнь. Он выбрался из шкафа, морщась от боли в шее — боли, которая уползала вверх, в голову, и вниз, в плечи. На ноги он встал с трудом: их свело.

Как всегда, он почувствовал смущение. Он знал, что сомнамбулизм — это такое состояние, которому подвержены все, и дети и взрослые, но продолжал считать его детской проблемой. Примерно как энурез.

В пижамных штанах, босой, с голым торсом, он шаркал через гостиную, по короткому коридору — в спальню и потом в ванную. В зеркале он выглядел потасканным распутником, вынырнувшим на поверхность после недели бесстыдного погружения в бездну самых грязных пороков.

Вообще-то, он был практически непорочен. Не курил, не обжирался, наркотиками не баловался. Пил мало. Любил женщин, но не был неразборчивым в связях, верил в преданность, когда дело касалось интимных отношений. Да что говорить, и женщин у него не было — уже сколько времени? Четыре месяца, что ли?

Выглядел он плохо — потасканный, измочаленный, во всяком случае, когда просыпался и наблюдал последствия незапланированного ночного похода к эрзац-постели. И каждый раз чувствовал себя хуже некуда. На прогулках он ходил сонный — какой там отдых.

Он сел на край ванны, согнул левую ногу, обследовал подошву, потом проделал то же самое с правой ногой. Ни по-

резов, ни царапин, ни грязи, значит во сне он не выходил из дому. Он уже дважды просыпался в гардеробной — на прошлой неделе и за двенадцать дней до этого последнего случая. Как и раньше, ощущение было такое, будто он преодолел в бессознательном состоянии многие мили, — но если и так, он всего лишь блуждал по своему маленькому дому.

Долгий горячий душ ослабил напряжение мышц. Он снова был в хорошей форме, тридцатипятилетним, то есть соответствовал своему возрасту. Позавтракав, он почувствовал себя почти человеком.

Доминик неторопливо выпил чашку кофе во внутреннем дворике, разглядывая красоты Лагуна-Бич с ее террасами, нисходящими к морю, потом отправился в кабинет, уверенный, что причиной его лунатизма была работа. Даже не столько сама работа, сколько поразительный успех его дебютного романа «Сумерки в Вавилоне», который он закончил в феврале прошлого года.

Агент, к которому он обратился, выставил «Сумерки» на аукцион, и, к удивлению Доминика, состоялась сделка с издательством «Рэндом-хаус», которое заплатило очень крупный аванс за первый роман начинающего писателя. Через месяц были проданы права на постановку фильма (он смог выплатить задаток за дом), а Литературная гильдия поставила «Сумерки» на ведущее место в своем рейтинге. Он семь месяцев писал эту книгу, не зная ни сна, ни отдыха, работал по шестьдесят, семьдесят, восемьдесят часов в неделю, не говоря уже о десяти годах, которые ушли на подготовку к работе, но все еще чувствовал себя так, будто в одночасье добился успеха и одним безумным прыжком вырвался из постылой бедности.

Порой бедняк Доминик Корвейсис поглядывал из прошлого на нынешнего богатенького себя, на свое отражение в зеркале или в позолоченном солнцем окне, видел себя сегодняшним и недоумевал: неужели он и в самом деле заслуживает все это — все, что свалилось на него? Не ведет ли этот путь к пропасти? Вместе с триумфом и популярностью пришло и безумное напряжение нервов.

Хорошо ли примет «Сумерки» публика, когда роман выйдет в феврале будущего года, оправдаются ли вложения «Рэндом-хауса», или книга провалится и все закончится крахом? Сможет ли он написать еще что-нибудь, или «Сумерки» были случайной удачей?

Днем, когда он не спал, эти и другие вопросы атаковали его мозг с настойчивостью хищного зверя, и он полагал, что те же проклятые вопросы не дают ему покоя и во сне. Поэтому-то он и ходил ночами: пытался убежать от снедающих его забот, искал укромное место для отдыха, где тревоги не смогут его достать.

Он включил электронную пишущую машинку IBM Displaywriter и нашел восемнадцатую главу своей новой книги, у которой еще не было названия. Вчера он остановился на половине шестой страницы этой главы, но, когда открыл документ, увидел, что страница дописана до конца. На мониторе светились незнакомые строчки, выделенные зеленым.

Он глуповато моргнул, глядя на аккуратные светящиеся буквы, потом тряхнул головой в бессмысленном отрицании реальности.

Затылок его повлажнел от пота.

Ужасно было не то, что он видел строки, которых не помнил; испугало его другое — смысл, вложенный в эти строки. Более того, у главы не должно было быть седьмой страницы, Доминик даже не начинал ее. А она была. И восьмая тоже.

Он принялся прокручивать текст на экране, руки его стали липкими. Пугающим дополнением к его работе была фраза, состоявшая всего из двух слов, но повторялась она бесконечно: «Мне страшно. Мне страшно. Мне страшно. Мне страшно».

Двойной пробел. Четвертной отступ. Четыре предложения в строке, тринадцать строк на шестой странице, двадцать семь строк на седьмой, еще двадцать семь на восьмой: фраза повторялась 268 раз. Машинка не создала ее сама по себе, будучи всего лишь рабом, который выполнял поставленную перед ним задачу. Глупо думать, будто кто-то про-

ник ночью в дом, чтобы испортить его электронный текст. Никаких признаков взлома не было, и Доминик не представлял, кто мог бы так над ним подшутить. Видимо, он сам включил машинку во сне и как одержимый напечатал это предложение 268 раз, хотя в памяти об этом ничего не осталось.

«Мне страшно».

Чего ты боишься — того, что ходишь во сне? Да, лунатизм выбивает из колеи — утром, по крайней мере, — но это не такое уж испытание, чтобы реагировать на него так ужасно.

Доминика пугала быстрота его литературного взлета и возможность такого же быстрого падения назад, в пустоту. И он никак не мог прогнать мучительную мысль о том, что происходящее с ним не имеет никакого отношения к его карьере, что угроза, нависшая над ним, — это нечто совершенно иное, нечто необычное, нечто такое, чего его рассудок еще не понимает, но подсознание уже восприняло и пытается сообщить ему об этом посланием, которое он написал во сне.

Нет. Чепуха. Всего лишь работа слишком активного писательского воображения. Работа. Вот лучшее лекарство.

К тому же, почитав о лунатизме, он выяснил, что большинство взрослых сомнамбул впадают в это состояние ненадолго. Лишь немногие пережили больше полудюжины эпизодов, и обычно на протяжении не более полугода. Очень высока вероятность, что сон его больше не будут беспокоить ночные хождения и он не проснется, съездившись, в глубине шкафа.

Он стер с дискеты слова, появившиеся неясно откуда, и продолжил работать над восемнадцатой главой.

Когда он проверил время, то с удивлением обнаружил, что стрелки перевалили за час и он пропустил ланч.

Начало ноября в Южной Калифорнии всегда мягкое, но в нынешнем году дни стояли необычайно теплые, поэтому он поел во внутреннем дворике. Пальмовые листья шуршали на ветерке, воздух был напоен ароматом осенних цветов. Лагуна величественно и грациозно спускалась к Тихому океану, он весь был в солнечных бликах.

Допив колу, он запрокинул голову, посмотрел прямо в ярко-голубое небо и рассмеялся.

«Видишь, никаких падающих сейфов. Никаких летящих на тебя роелей. Никаких дамочловых мечей».

Было 7 ноября.

2

Бостон, Массачусетс

Доктор Джинджер Мари Вайс никак не ожидала, что столкнется с неприятностями в кулинарной лавке Бернштейна, но именно там все и началось — с инцидента с черными перчатками.

Обычно Джинджер могла справиться с любыми проблемами, вставшими перед ней. Она радовалась каждому вызову, брошенному ей жизнью, трудности только закаляли ее. Она заскучала бы, будь ее жизнь легкой и гладкой. Ей и в голову не приходило, что она может когда-нибудь столкнуться с проблемой, решить которую будет не в силах.

Жизнь не только бросает вызовы, но и преподает уроки, и некоторые из них особенно важны. Одни уроки легки, другие трудны.

Некоторые из них разрушительны.

Джинджер была умна, хороша собой, честолюбива, неустойчива в работе, прекрасно готовила, но главное ее преимущество состояло в том, что при первой встрече ее никто не воспринимал всерьез. Она была стройная, как стрекозка, — изящное воздушное существо, казавшееся столько же непрактичным, сколь и прекрасным. Большинство людей недооценивали ее подолгу, лишь постепенно осозная, какая она сильная личность — как конкурент, коллега или противник.

История о разбойном нападении на Джинджер стала легендой больницы при нью-йоркском Колумбийском университете, где она за четыре года до случая в лавке Бернштейна проходила интернатуру. Как и все интерны, Джинджер нередко отработывала по шестнадцать часов, а то и больше, день за днем, — и когда выходила из больницы, ей едва хва-

тало сил дотащиться до дому. В один жаркий и влажный субботний вечер — стоял июль, — после нескольких особенно изматывающих смен, она отправилась домой в начале одиннадцатого, и на нее напал здоровенный неандерталец с огромными, как лопаты, руками, без шеи, с покатым лбом.

— Попробуй только пискнуть, — сказал он, возникнув из ниоткуда, как черт из табакерки, — и я тебе зубы вышибу. — Он схватил ее руку и заломил за спину. — Поняла, сука?

Пешеходов поблизости не было, ближайшие машины остановились в двух кварталах, на светофоре. Помощи ждать неоткуда.

Он затолкал ее в узкий, полный мусора, почти неосвещенный проезд между домами. Джинджер ударилась о помойный бачок, ушибла колено и плечо, споткнулась, но не упала. Ее опеленали многорукие тени.

Всхлипывая и задыхаясь, она заставила нападавшего почувствовать себя увереннее, потому что сначала подумала, что у него есть пистолет.

«Потакай бандиту, — говорила она себе. — Не сопротивляйся. Иначе пристрелит».

Ближе к концу проезда он прижал ее к расположенной в углублении двери, неподалеку от единственной тусклой лампочки, и принялся сыпать грязными словами, объясняя, что сделает с ней, когда отберет деньги. И тут она, несмотря на слабое освещение, сумела разглядеть, что оружия у него нет. У Джинджер появилась надежда. От его непристойных слов кровь стыла в жилах, но поток сексуальных угроз был таким скудным и однообразным, что вызывал чуть ли не смех. Джинджер поняла, что имеет дело с тупым недоумком, который для получения желаемого надеется только на свою массу, кулаки и размеры тела. Люди, ему подобные, редко носят оружие. Мышцы давали ему ложное ощущение непобедимости, а это означало, что в драке он был явный профан.

Джинджер без всякого сопротивления отдала ему сумочку, которую грабитель тут же принялся потрошить, и, собрав все свое мужество, что есть силы ударила его ногой в пах.

От удара тот переломился пополам. Она быстро схватила руку подонка и принялась безжалостно заламывать его указательный палец, пока боль не стала совсем уж невыносимой.

Когда такое проделываешь с указательным пальцем — жестко и беспощадно, — это быстро выводит из строя любого человека, независимо от силы и габаритов. Натянулись пальцевые ответвления срединного нерва его руки, одновременно воздействуя на высокочувствительные нервы задней части, срединный и лучевой. Скоро жуткая боль достигла шеи преступника, пройдя по акромиальным нервам плеча.

Свободной рукой он ухватил ее за волосы и потащил. Ответная атака заставила Джинджер вскрикнуть, в глазах помутилось, но она сжала зубы, стерпела и заломила палец своего пленника еще больше. Страшная боль лишила его мыслей о сопротивлении. Слезы покатались из глаз, и он упал на колени, беспомощно визжа и бранясь:

— Отпусти меня! Отпусти, гадина!

Выморгав слезы из глаз — такая же соленая влага скопилась в уголках рта, — Джинджер обеими руками ухватила его заломленный палец и, осторожно пятясь, вывела налетчика из проезда. Двигался он с трудом, опираясь на колени и руку, — она тащила его, как бешеную собаку на поводке.

Перебирая конечностями, сдирая кожу, перемещаясь неуклюжими рывками, он смотрел на нее глазами, помутневшими от смертоубийственной ярости. Отвратительное, тупое лицо стало менее различимо, когда они удалились от источника света, но Джинджер видела, как оно искажено болью, яростью, унижением и из человеческого превратилось в гоблинское. Пронзительным, опять же гоблинским голосом он извергал чудовищные проклятия.

Когда они таким же манером проползли ярдов пятнадцать по проезду, страшная боль в руке и от удара в пах совершенно измотали его. Он кашлял, задыхался, всего себя заблевал.

Но она его отпускать не стала. Теперь, при малейшей возможности, он не только избьет ее до полусмерти, он

убьет ее. Охваченная ужасом и брезгливостью, она тащила грабителя все упорнее.

Добравшись из проезда до улицы с облеваным грабителем на буксире, она не увидела ни одного пешехода, который мог бы вызвать полицию, и дотащила присмирившего бандита до середины трассы, вынудив проезжающие машины остановиться при виде такого редкого зрелища.

Облегчение, которое испытала Джинджер после приезда полиции, не шло ни в какое сравнение с облегчением головореза, напавшего на нее.

Часто люди недооценивали Джинджер, потому что она была маленькой: рост пять футов и два дюйма. Весила она сто два фунта — ничего особенного, тем более устрашающего. Точно так же, хотя она и была стройна, совсем не походила на сногшибательную блондинку. Блондинкой она, впрочем, была, притом особенной, серебристый цвет ее волос притягивал взгляды мужчин — не важно, видели они ее в первый раз или в сотый. Даже при ярком солнце ее волосы навевали мысли о лунном свете. Эти небесно-бледные, свечающиеся волосы, изящные черты, голубые глаза, излучавшие нежность, шея, как у Одри Хепбёрн, хрупкие плечи, тонкие запястья, длинные пальцы, осиная талия — все создавало обманчивое впечатление незащищенности. Ну и от природы Джинджер была тихой, склонной к созерцательности — качества, которые можно ошибочно принять за робость. Говорила она голосом мягким и музыкальным, и за этой ее сладкозвучностью легко можно было не заметить уверенности в себе и упорства.

Джинджер унаследовала серебристую гриву волос, небесного цвета глаза, красоту и честолюбие от своей матери Анны, шведки ростом пять футов и десять дюймов.

— Золотце ты мое, — сказала Анна, когда Джинджер в девять лет, на два года раньше, окончила шестой класс.

Джинджер училась лучше всех в классе и получила за свои успехи грамоту с золотой каймой. Еще она стала одной из троих, кому доверили развлекательную часть выпускной церемонии, и сыграла на рояле две композиции Моцарта;

за этим последовала мелодия в стиле регтайм, заставившая удивленную публику встать.

— Девочка моя золотая, — то и дело повторяла Анна по дороге домой, обнимая дочь.

Джейкоб вел машину, смаргивая слезы гордости. Он был человеком эмоциональным, растрогать его не составляло труда. Смущаясь таким частым появлением влаги у себя на лице, он пытался скрывать свои чувства, объясняя слезы и покраснение глаз аллергией, которую у него никогда не диагностировали.

— Похоже, в этом году какая-то специфическая пыльца, — сказал он дважды по пути домой после выпускного вечера. — Очень раздражающая пыльца.

— В тебе все сошлось, Бубеле¹, — сказала Анна. — Мои лучшие свойства и лучшие качества твоего отца. Тебя ждет успех, Бог свидетель, подожди — скоро сама увидишь. Окончишь среднюю школу, потом поступишь в колледж, потом, может быть, в юридический или медицинский — все, что пожелаешь. Что угодно.

Родители Джинджер были единственными, кто оценивал ее так, как следует.

Они свернули на подъездную дорожку, и Джейкоб, не доезжая до гаража, спросил удивленно:

— Что это мы? Наш единственный ребенок оканчивает шестой класс, наша дочка, которая думает, что ей все доступно и она может выйти замуж за короля Сиам и поехать на жирафе на луну... И она впервые в жизни надевает шапочку и мантию, а мы не празднуем! Может, махнем на Манхэттен, выпьем шампанского в «Плазе»? Поужинаем в «Уолдорфе»? Нет. Нужно что-нибудь помасштабнее. Если космонавт на жирафе, что для него самое-самое? Едем к «Уолгрину», где лимонадный фонтанчик!

— Да, — сказала Джинджер.

В «Уолгрине» они, похоже, были самой странной семьей, какую здесь когда-либо видели: папа-еврей, ростом с жокея, с немецким именем и лицом сефарда, мама-шведка, восхитительно женственная блондинка, выше мужа дюймов

¹ Бубеле — детка, дорогая (*идиш*).

на пять, и ребенок — видение, эльф, миниатюрная, в отличие от мамы, и светленькая, в отличие от черноволосого отца, наделенная красотой, непохожей на материнскую: более утонченной, какой-то сказочной. С детства Джинджер знала: люди, видя ее с родителями, думают, что она — приемыш.

От отца она унаследовала малый рост, мягкий голос, кротость и гибкий ум.

Она любила их обоих так сильно и беззаветно, что в детстве ей не хватало слов, чтобы передать свои чувства. Даже взрослой она не могла найти выражений, способных показать, что для нее значат родители. Теперь их не было в ее жизни — они оба ушли в ранние могилы.

Анна погибла в автокатастрофе вскоре после того, как Джинджер исполнилось двенадцать. Здравый смысл подсказывал родным Джейкоба, что без шведки (клан Вайсов давно уже перестал считать ее гоем и относился к Анне с уважением и любовью) Джинджер с отцом поплывут вниз по течению. Все знали, как близки были эти трое, более того, все знали, что это Анна вела семью к успеху и процветанию. Именно Анна выбрала наименее честолобивого из братьев Вайс — мечтателя Джейкоба, кротчайшего Джейкоба, который вечно сидел, уткнувшись в какой-нибудь детектив или научно-фантастический роман, и слепила из него то, чем он стал в результате. Когда она вышла за него, Джейкоб прислуживал в ювелирном магазине; когда она погибла, Джейкоб владел двумя магазинами.

После похорон семья собралась в большом доме тети Рейчел в Бруклин-Хейтсе. Как только ей удавалось ускользнуть от близких, Джинджер находила утешение в темном уединении кладовки. Она садилась на табурет и, вдыхая запахи пряностей, молилась Богу, чтобы Он вернул ей маму. Тетя Франсина разговаривала с Рейчел на кухне. Фран горевала, предвидя мрачное будущее, ожидающее Джейкоба и его маленькую девочку в мире без Анны.

— Он не справится с бизнесом, ты же понимаешь, наверняка не справится, даже когда вся печаль уйдет и он вернется к работе. Бедняга, он такой неприспособленный. Анна

была его голосом разума, его лучшим советчиком, без нее он пропадет лет через пять.

Они недооценивали Джинджер.

Справедливости ради нужно сказать, что Джинджер было всего двенадцать, и, хотя она уже училась в десятом классе, большинство людей видели в ней ребенка. Никто и подумать не мог, что она так скоро заменит Анну. Джинджер разделяла материнскую любовь к стряпне, после похорон несколько недель листала кулинарные книги и с удивительным прилежанием и терпением — этими своими особенными качествами — приобрела те кулинарные навыки, которых прежде не имела. Когда родственники пришли к ним на обед в первый раз после смерти Анны, они глазам своим не поверили. Домашние картофельные хлебцы, сырны калачи. Овощной суп с плавающими в нем пышными клецками из говядины и сыра. Форшмак на закуску. Тушеная телятина со стручковым перцем, цимес со сливами и с картошкой, котлеты, жаренные на жире и поданные в томатном соусе. На десерт — печеный персиковый пудинг и яблочный пирог. Франсина и Рейчел решили, что Джейкоб прячет у себя на кухне новую кухарку, и не поверили, когда он показал на дочку. Джинджер не считала, что совершила нечто выдающееся. Семье требовалась кухарка, и она сделалась ею.

Забота об отце стала для Джинджер главным делом, и она взялась за это страстно и горячо. Она быстро и хорошо убиралась в доме — так основательно, что ее труд проходил даже тайную проверку на пыль и грязь, устраиваемую тетужкой Франсиной. Несмотря на свои двенадцать, она научилась планировать бюджет; ей не было и тринадцати, когда она стала вести все счета семьи.

В четырнадцать она, хотя и была на три года моложе своих одноклассников, стала первой в классе. Когда узнали, что ее приглашают несколько университетов сразу, но она выбрала Барнард, все засомневались: не захватила ли она в таком нежном возрасте на кусок, который не сможет проглотить?

В Барнарде было потруднее, чем в школе, она здесь не обгоняла сверстников, но шла наравне с лучшими; ее средняя успеваемость составляла четыре балла и лишь однажды опустилась до трех целых и восьми десятых — на первом кур-

се, когда у Джейкоба случился первый приступ панкреатита и она все вечера проводила в больнице.

Джейкоб неплохо держался, когда она стала бакалавром, но, когда Джинджер получила медицинскую степень, выглядел совсем уж больным и немощным. И все же он цеплялся за жизнь в первые полгода ее интернатуры. Но панкреатит вызвал рак поджелудочной железы, и он умер, так и не узнав, что Джинджер, отказавшись от карьеры исследователя, выбрала хирургическую ординатуру в Бостонском Мемориальном госпитале.

С Джейкобом она прожила дольше, чем с Анной, потому и чувства ее к нему были намного глубже, и уход отца стал для Джинджер еще более тяжелым ударом, чем потеря матери. Но она справилась с этой бедой, как справлялась со всеми вызовами, и окончила интернатуру с отличными отзывами и превосходными рекомендациями.

Джинджер отложила вторую интернатуру и уехала в Калифорнию, в Стэнфорд, чтобы освоить уникальную и очень напряженную двухгодичную программу по сосудисто-сердечным патологиям. Потом, после месячного отдыха (самого длинного за всю ее жизнь), она вернулась в Бостон и договорилась о кураторстве с доктором Джорджем Ханнаби, главой хирургического отделения в Мемориальном госпитале, известном своими новаторскими методами в сердечно-сосудистой хирургии. Первые два года новой интернатуры прошли блестяще.

И вот ноябрьским утром, во вторник, она отправилась в кулинарную лавку Бернстайна за покупками, и тут случилось то, что случилось, — вся эта жуть. Человек в черных перчатках. Но это было только началом.

Вообще-то, по вторникам она не работала — если только кто-то из пациентов не был в критическом состоянии, — и в больнице ее не ждали. В первые два месяца в Мемориальном госпитале она, со свойственными ей живостью и энергией, приходила туда даже в свои выходные, — по правде говоря, ей больше нечего было делать. Но Джордж Ханнаби положил этому конец. Он сказал, что врачи постоянно испытывают стресс и обязаны давать себе отдых — и Джинджер Вайс не исключение.

— Если вы слишком быстро выдохнетесь, работая на износ, — сказал он, — будет плохо не только для вас, но и для пациентов.

Поэтому каждый вторник она спала на час дольше обычного, принимала душ, выпивала две чашки кофе, читала на кухне утреннюю газету, глядела в окно, которое выходило на Маунт-Вернон-стрит. В десять часов одевалась, проходила несколько кварталов до кулинарного магазина Бернштейна на Чарльз-стрит, покупала пастроми, солонину, булочки домашней выпечки, простой ржаной хлеб, картофельный салат, блинчики, немного лосося или копченой осетрины, порой — вареники с домашним сыром, чтобы дома их подогреть. Возвращалась домой с пакетом всех этих вкусностей и бесстыдно ела весь день, читая Агату Кристи, Дика Фрэнсиса, Джона Макдональда, Леонарда Элмора и иногда Хайнлайна. Джинджер еще не полюбила отдых так сильно, как любила работу, но постепенно стала ценить свое свободное время, и вторник перестал быть для нее ненавистным днем, каким был поначалу, когда ей навязали шестидневку.

Тот злосчастный ноябрьский вторник начался замечательно — с серого зимнего неба, прозрачного прохладного утра, свежего, бодрящего и ничуть не морозного, а заведенный порядок привел ее к магазину Бернштейна (набитому покупателями, как обычно) в десять часов двадцать одну минуту ровно. Джинджер прошла вдоль длинного прилавка, заглядывая в шкафчики с выпечкой, рассматривая продукты за стеклом охлаждаемой витрины, выбирая деликатесы с радостью гурмана. Торговый зал был полон божественных запахов и приятных звуков: тесто, корица, смех, чеснок, гвоздика, беглые разговоры, то ли на английском, то ли хрен поймешь на каком — от идиша и бостонского акцента до новейшего рок-н-рольного сленга, — фундук жареный, квашеная капуста, огурчики маринованные, кофе, звяканье столовых приборов. Отоварившись чем хотела, Джинджер оплатила покупки, натянула вязаные перчатки, взяла пакет, прошла мимо столиков, за которыми люди вкушали свой поздний завтрак, и направилась к двери.

Пакет был в левой руке, правой она пыталась засунуть бумажник в сумочку, висевшую на плече. Подходя к дверям,